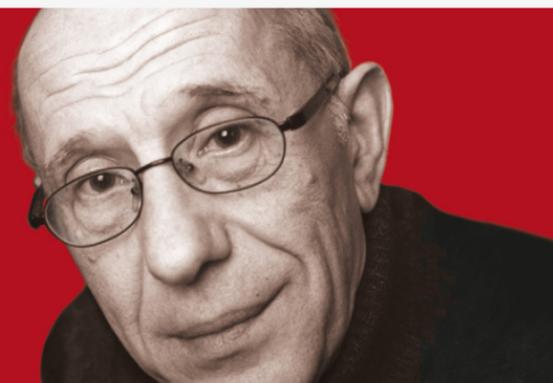


САМУИЛ
ЛУРЬЕ



ХИМЕРЫ

ПОВЕСТИ, ЭССЕ

Диалог (Время)

Самуил Лурье

Химеры

«ВЕБКНИГА»

2021

Лурье С.

Химеры / С. Лурье — «ВЕБКНИГА», 2021 — (Диалог (Время))

ISBN 978-5-96-912063-1

В книгу вошли последние произведения писателя, эссеиста, литературного критика и историка литературы Самуила Ароновича Лурье (1942–2015). Продолжая плеяду русских правдоискателей, которые силой своего публицистического и художественного слова боролись за справедливость, за человека, Самуил Лурье стал среди них одним из самых ярких и парадоксальных. Его неповторимое чувство стиля неразрывно сочеталось с глубиной и остротой мышления. Рассуждая о Шекспире, он не остается в XVI веке, а говорит о трагическом суициде подростков в 2014 году в якутской деревне и о жестоком убийстве девушки в Пакистане в наши дни. А чиновничий беспредел царской России – для него повод говорить о человеческих судьбах недавнего советского и сегодняшнего времени. Путешествуя по страницам мировой литературы вслед за пером Самуила Лурье, мы неизбежно и постоянно оказываемся перед зеркалом современности и видим в нем себя и своих соплеменников. «Так, как писал Лурье, не сумеет уже никто» (Виктор Шендерович).

ISBN 978-5-96-912063-1

© Лурье С., 2021
© ВЕБКНИГА, 2021

Содержание

Вместо предисловия. Виктор Шендерович	6
Меркуцио. Повесть	7
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Самуил Лурье

Химеры

Художественное электронное издание

Редактор *Вера Копылова*

Художественный редактор *Валерий Калныньш*

Верстка *Оксана Куракина*

Корректор *Татьяна Трушкина*

Оформление *Валерий Калныньш*

Фото *Андрея Андреева*

© Лурье С. А., наследники, 2021

© «Время», 2021



Вместо предисловия. Виктор Шендерович

Писать про Самуила Лурье трудно – ведь надо написать так, чтобы перед ним не было стыдно. Чтобы его доброе и печальное лицо, стоящее перед твоими глазами, не выразило разочарованного понимания: ну да, так тоже можно, бумага стерпит...

А так, как писал Лурье, не сумеет уже никто. Феноменальная пластичность его языка, иногда притворявшаяся потоком сознания, делала нас свидетелями рождения мысли – и это совершенно неповторимо!

Самуил Лурье ощущал литературный процесс как часть истории. Он знал о нем, кажется, все, но его тексты были не диссертационным литературоведением, не складом фактов и арматурой концепций, а неубитым (и оттого сигнализирующим о боли) нервом.

Блистательное перо Лурье-Гедройца исследовало николаевские и александровские времена, но не брезговало и хроникальными записями новейших девяностых и нулевых, и безнадёжность русской политической и общественной жизни не описана – прожита им мучительно и многократно. Ахматовскую строку о «великолепном презрении», пронесенном до конца жизни, можно смело отнести к историку литературы Самуилу Ароновичу Лурье.

Его нет с нами уже пять лет. Невосполнимость потери, очевидная для литературного цеха, увы, неочевидна для общества (или того, что образовалось у нас на том месте, где должно быть – общество). Говоря прямее, страна почти не заметила потери – очередной показатель ее деградации.

Впрочем, по слову Бродского, спасти человечество нельзя, но одного человека – всегда можно. Книги адресованы – людям. И тех, в ком, по Бабелю, квартирует совесть (а в придачу к ней любовь к литературе и вкус к слову), ждёт под этой обложкой настоящий подарок – последние тексты Самуила Лурье.

Виктор Шендерович

Меркуцио. Повесть

Геннадию Федоровичу Комарову

1

Составляю предложения. Скрепляю обдуманную, по возможности, лексику – осмысленным, по возможности, синтаксисом. Никогда ничего другого не умел – умею ли все еще?

Какие там, на гаснущем багровом небе внутри черепа, беззвучно рвутся по швам облака. Словесный автоскан головы.

Забавляюсь, короче. Je m’amuse. Как Фердинанд VIII. Как Франциск I.

Посему и считалка – не «шла машина темным лесом за каким-то интересом», а из Жуковского: «Перед своим зверинцем, с баронами, с наследным принцем, король Франциск сидел; с высокого балкона он *плевал*», – короче, все равно выходи на букву *С*. Или *Л*. Или *Ш*.

2

Текст заведен 23 апреля текущего года.

В апреле 1564-го, очень вероятно, что как раз 23-го, во Вселенной появился (окрещен 26-го) Уильям Шекспир. Английский сами знаете кто. Тот, кого так звали. А через пятьдесят два года в апреле же – и считается несомненным, что именно 23-го (совпадение!), – он убыл. (Погребен 25-го.) Правда, не по нашему, а по Цезареву и РПЦ календарю.

В эти моменты планета Земля пролетала сквозь одну и ту же точку некой воображаемой (школьниками) окружности. Прodeвалась в нее, как в игольное ушко. Не теряя тем не менее с Эвереста ни снежинки.

И пока предыдущая фраза ползла (а за нею ваш взгляд бежал) к правому краю, этот астрономический акт (или факт) случился опять.

А я застрял. Я отстал. Как раз на этой (теперь уже предпредыдущей) фразе мой текст резко затормозил. По техническим причинам. И Земля кувыркком понеслась дальше без него – а я в него вцепился. Повис на нем, как паук на обрывке паутины, плывущем в пустоте.

В общем, так. Самая первая за счастье названного человека пинта алкогольного напитка была опрокинута тютелька в тютельку 450 оборотов обитаемой нами планеты вокруг озаряющего нас светила в другую сторону (по часовой стрелке, если смотреть с Полярной звезды) отмотать. И не забыть прибавить (или убавить?) 10 (или 15?) ее же оборотов вокруг собственной (опять же воображаемой) оси.

Люблю цифры, но не умею считать. Так ли, иначе ли, эта – кругла. Просвещенные британцы, а также специалисты всех стран, отпарив смокинги, отметили.

Вот и я тоже вздумал было. Моноглот с клешней.

Как человек, кое-чем обязанный покойному.

В мои десять лет, и в одиннадцать, и даже, кажется, в двенадцать Шекспир (автор всех этих пьес) был мой единственный, осмелюсь произнести, друг. Самый сильный ум тогдашнего моего мира. Надеюсь, это он успел внушить мне (или даже привить) парочку все еще ощущаемых предрассудков. Нисколько не разделяли нас эти (сейчас я все-таки подсчитал, вроде бы правильно!) 378 лет и 1 (один) день.

Шекспир ведь – писатель для детей, – вы не согласны?

3

Текст не поспел к дате.

Я опоздал на празднество Шекспира.

(Знаю, знаю: раскавычил строку шедевра – нечаянно припомнилась, – искажил, обесцветил, бесцеремонно посягнул.)

Вообще-то, для бывшей советской недо- (да еще и само-) образованщины этот юбилей – прекрасный повод сэкономить тысячу-другую слов. Сохранить молчание, сколько уж его осталось, неизменным на черный день.

Но как певал тоже помните кто: уж если я чего решил, то выпью обязательно. Так вот и я – положил в сердце своем: жив не буду, а напишу – сплету, значит, ряд предложений – не про мистера Ш., конечно, а про опубликованную в 1597 году пьесу, по-русски называемую «Ромео и Джульетта».

Зачем напишу (если напишу, тьфу-тьфу)? Низачем. Почему? Кто его (меня) знает.

То ли бес в ребро.

То ли тоска по мировой культуре (так у нас в Ленинграде называлась привычка судить о ценностях по копиям) заела, как бывшего лишнего человека – окружающая среда.

То ли просто ни с того ни с сего угораздило через шестьдесят лет перечитать – и теперь монады чужого текста мелькают в моей голове, как стрижи в метро. Или лучше сказать – витают? зависают? Как стрекозы или осы. Как путти в живописи барокко (на репродукциях, да). Не персонажи. Скорее, цитаты. Реплики, но как бы и существа. Летающие пупсы. У каждого в пухлых ручонках – плакат. Кусок рулона цветных обоев – с фразой, или метафорой, или шуткой.

Наверное, они прятались там, на крыше (в гиппокампе, небось), все время моей так называемой сознательной жизни. А я их растревожил. Нечаянно. И напрасно. Теперь не дают додумать ни одну из оставшихся мыслей – обрывают, как слабую нитку. Надоедают вообще. Попробовать отделаться. Заманить их в другой, в мой текст и там закрыть.

4

Была у меня такая блажь, я иногда ей предавался: навещать якобы умерших якобы моих персонажей. Литераторов. Тех, про кого по-настоящему думал. Пытаясь вызвать и вернуть. Да, самое большее на какую-нибудь минуту. Да, только в мое воображение. Полагаю, впрочем (да и просто верю), что пребывание человека даже в одной чьей-нибудь, не его, голове, даже всего лишь в качестве субъекта неких грамматических конструкций реально и резко отлично от распыления, от растворения, от исчезновения в Ничём с координатами Нигде и Никогда.

(Кто ясно мыслит – ясно излагает. Боюсь, нынче это не я.)

Абсолютное небытие чего-то, имевшего место и время, и само-то по себе не представляется (мне) возможным, а уж приравнять к нему смерть – просто смешно. Знай свое место, голубушка, исполняй санитарно-гигиеническую функцию, а дальше разберутся без тебя; ступай ополосни фартук.

Как изъясняется (то ли уклонившись от пули, то ли выстрелив первым) один налетчик в стихах одного поэта: вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть, адью до следующего раза.

Вот с такими приблизительно мыслями – как бы выказывая смерти пренебрежение, – пил я водку (как чижик-пыжик) на Литераторских мостках, возле порфировой колонны Полевого, и прислонившись к робкой оградке Писарева, и глядя узкоплечей половинке Салтыкова прямо в залитые дождем ненавидящие медные глаза. И на Новодевичьем (нашем, Ленинградском)

у тютчевской плиты, а также над мокрой пустой ямой Случевского. И в Лавре возлагал (да просто положил) розы Вяземскому на многотонный темно-серый саркофаг.

Федора Сологуба на Смоленском так и не отыскал, о чем жалею. Еще о том, что на Новом жидовском кладбище в социалистической Праге поднял (и унес на память) камешек из рассыпанных перед стелой с надписью про Кафку: «пражский жидовский списователь». Надо-то было, наоборот, камешек туда принести.

Совсем-совсем пустынное было кладбище. Сплошь заволокшееся какой-то нитевидной травой.

Камешек потерян.

Распивать, как варвар, спиртное на могиле Шекспира никто бы мне не позволил, конечно. Да и в мыслях не было. Что вы, что вы.

5

В общем, как только жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась (опять же известно, кем написано), – я тотчас ею воспользовался, чтобы продолжить эту работу.

Извините. Я, конечно, хотел сказать: эту игру. Объявленная научная калорийность – нуль. Уровень претензии – соответствует соглашению, которое заключили мы с И. А. (он поставил условие, я добровольно принял): над каждой страницей бубнить про себя, себя же предостерегая:

– Эй, берегись. Тебе говорят! Не желаешь быть совсем смешным – смотри держись, моноглот, своего ординара —

не выше сапога

Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник.

6

А что? Очень непротивная, совсем не бездарная тетка была. Ее вклад в существовавшую здесь культуру не оценим – и не оценен. А между прочим, ведь это благодаря ей Чехов к тридцати пяти годам нанес последний штрих на свою эстетику: да, прекрасно должно быть все, – но и чтобы рукам было мягко:

– Мне нужно двадцать тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шелковой сорочке.

Ну а недо-, полу-, само- и т. д. образованщина (хотя бы и в моем лице) благодаря ей же полагает (возможно – заблуждается), что прочитала почти всего Ростана, и драму Гюго «Рюи Блаз», и много-много еще всякого разного, и в том числе сколько-то произведений мистера Ш., эсквайра.

7

Несколько слов зацепили меня то ли в так называемом детстве (канал Грибоедова, 79, под роялем), то ли в так называемом отрочестве (Калашниковская наб., 24, на подоконнике). Острога Меркуцио:

– Эта дурацкая любовь похожа на шута, который бежит взад и вперед, не зная, куда ему сунуть свою погрешку.

Вот насколько свысока. Пленительно пренебрежительная интонация ума, обложенного сухим льдом. Так говорил Базаров. И Ницше, само собой. И Фрейд.

Только, если вы такой блестящий, отчего же острота ваша так слаба?

Кого мы видим в окошке сравнения? Шута. (Джокера из карточной колоды. Клоуна из цирка.) Что он делает? Мечется по комнате, пытаюсь избавиться от потешного музыкального ударного инструмента. Как будто за дверью православный ГБ-джихад с ордером на обыск. В сезон отстрела безродных скоморохов. Ну и при чем тут —?

(Не обязательно по комнате – по улице; по площади; как Иван Яковлев, цирюльник; как если бы в погремушке находился завернутый в бумажку нос майора К. Но и опять же: при чем тут —?)

А ни при чем. Текст нелеп нарочно – чтобы у вас была причина заподозрить: перевод фальшив. И сообразить – почему: конечно же, в оригинале – непристойность. Нетрудно даже догадаться (непристойности не больно-то разнообразны): из самых прозрачных, судя по глаголу «сунуть» и обороту «взад и вперед».

И действительно:

– For this drivelling love is like a great natural, that runs lolling up and down to hide his bauble in a hole.

Гугл-переводчик затрудняется, так где уж мне. Но кое-что все-таки разобрать можно.

Никаких шутов. Ни погремушек.

А great natural вроде бы опознается через строчку Бродского (тоже вульгарную): «валял дурака под кожу», – или нет?

Что бесспорно (по-моему) – содержанием фразы является возвратно-поступательное движение – как бы работающего поршня – мото- (или бензо-) Приапа с человеческой спиной; эта штука пристроена (или уродец сам пристроился) к некоему отверстию: входит в него, выходит, входит-выходит.

Мало-мальски способный актер изобразит эту реплику («Пава, изобрази!») с неизбежным успехом: публика – «Глобуса» ли, довлатовской ли «Зоны» – счастлива.

8

Кстати: эффект опробован в «Двух веронцах». (Эта пьеса – в некотором роде эскиз, черновой набросок «Р. и Дж.». По-моему. Но полагаю и даже уверен, что Наука снисходительно, полусоглашаясь, кивнет.) Там два придурка – два клоуна – двое слуг – беседуют про то, как один из них представляет себе отношения влюбленных, в таком ключе:

Ланс. Какой же ты чурбан, если ничего не можешь представить! Моя палка и та может что-то представить.

Спид. На основании твоих слов?

Ланс. И моих действий. Смотри, я ее ставлю перед собой, и она уже что-то представляет.

Забыл, чей перевод. Морозова, кажется. Не Кузмина. У Кузмина чуть игривей:

Спид. В чем же состоит дело?

Лонс. Ни в чем. И у него отлично стоит, и у нее прекрасно обстоит.

Спид. Вот осел-то! Я не в состоянии ничего понять.

Лонс. Так это ты чурбан, что не в состоянии. У меня палка и то в состоянии.

9

Похабному домыслу порочного невежды – то есть моему – противопоставим творческую удачу Большого Поэта, который к тому же пользовался консультациями Большого Филолога:

– А эта чертова твоя любовь – как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки.

Вот попался бы десятилетнему мне – или тому, кто был мной в 1952 году, – вместо перевода Татьяны Львовны перевод Бориса Леонидовича, – возможно, в течение всей жизни немножко иначе понимал бы я иронию, да и про подлежащее обсуждаемого предложения воображал бы не совсем то, что воображал. А значит, и эта так называемая вся жизнь была бы тоже отчасти другая – не исключено, что веселей для меня и полезней для некоторых. И теперешний, окончательный я мог бы оказаться кем-нибудь еще глупей, но зато хоть чуть пополезней того, который зачем-то (сказано же – ни за чем!) сочиняет этот текст; кто вот сейчас, например, с удовольствием поставил бы после точки смайлик.

Кто не удосужился в свое время заглянуть в перевод Аполлона Григорьева:

– Эта нюня-любовь мечется вечно, высуня язык, из угла в угол да ищет все дырки, куда бы свою дурь всунуть.

(Какая фраза! Русская разночинная. Прямо из шинельной Московского университета сороковых позапрошлого.)

Только нынче узнал, что существовала еще одна модель данного афоризма; первая советская; почти в натуральную величину; из сырой, даже не обструганной древесины:

– А эта слюнявая любовь похожа на длинного дурня, который мечется взад и вперед, чтобы спрятать свою шутовскую палку в дыру.

(Анны Радловой перевод. Одно время – самый ходовой, но потом вместе с нею отправленный в Переборский лагерь – это под Рыбинском, – где, впрочем, в помещении КВЧ тоже бывал, хотелось бы надеяться, исполняем иногда; в отрывках, разумеется.)

10

А вот забавный эпизод, в котором они все облажались; не справились и махнули рукой; только Большой поэт при поддержке Большого Филолога (уже другого) напрягся, извернулся и блеснул – но так, что уж лучше бы и не блистал.

Это в самом начале пьесы: люди Капулета (Capulet) на городской площади задирают таких же гвардейцев Монтекки (Montegue).

Самсон. ...Я им кукиш покажу. Такого оскорбления они не стерпят.

Абрам. Это вы нам показываете кукиш, синьор?

Самсон. Я просто показываю кукиш, синьор.

Абрам. Вы нам показываете кукиш, синьор?

Самсон (*тихо, к Грегори*). Будет на нашей стороне закон, если я отвечу да?

Грегори. Нет.

Самсон. Нет, синьор! Я не вам показываю кукиш, синьор! Я его просто показываю, синьор!

И т. д. Перевод Татьяны Львовны. Что значит – потомственная почетная гражданка кулис: каким-то волшебством смешное сохранено. В переходах интонаций. Но демонстрируемая на итальянской площади в британской пьесе конечность, увенчанная «кулаком с пропуском под указательным большого пальца» (Даль) не может быть ничем, кроме импортного про-

теза; какое уж тут веселье, когда текст – инвалид. С выраженным физическим, как писали раньше в трамваях.

Несчастный этот кукиш введен в оборот задолго до Т. Л. Уже в переводе Григорьева фигурирует.

А что поделать, если в оригинале болван Самсон зачем-то сует себе в рот собственный палец (вроде бы – большой) и делает вид, что покусывает, или прикусывает, или просто кусает его.

Чей-нибудь извращенный ум, пожалуй, повелся бы на возникающую (в нем, в уме извращенном) идею отдаленного сходства с концепцией длинного дурня, изложенной выше. (Нынешний-то театр не запнется: поменять большой на средний – доля секунды. Но в РИ, а потом в СССР до самой перестройки произведенный таким приемом жест был неизвестен. И невозможен.)

Б. Л. Пастернаку, мы видели, была ближе концепция слюнявой юродивой. Благовоспитанность Поэта, подкреплённая дотошностью Филолога (А. А. Смирнова), принесла удивительный плод.

Филолог добыл (не умею даже предположить, из какого источника, но не сам же он выдумал) занимательную историческую подробность, и Поэт приклеил ее к пьесе как примечание.

Для полного успеха распорядок действий требуется, стало быть, такой.

Вот разгорается перепалка.

Самсон. Я буду грызть ноготь по их адресу. Они будут опозорены, если смолчат.

Абрам. Не на наш ли счет вы грызете ноготь, сэръ?

Самсон. Грызу ноготь, сэръ.

Абрам. Не на наш ли счет вы грызете ноготь, сэръ?

Самсон (*вполголоса Грегорию*). Если это подтвердить, закон на нашей стороне?

Грегорию (*вполголоса Самсону*). Ни в коем случае.

Самсон. Нет, я грызу ноготь не на ваш счет, сэръ. А грызу, говорю, ноготь, сэръ.

По сцене пробегают Примечание (какой-нибудь заслуженный артист) и шепотом кричит:

– Грызть ноготь большого пальца, щелкая им о зубы, считалось оскорблением (таким же, как показать язык).

Ну а уж после этого – мечи наголо, и пылай, потасовка.

Кто я такой (антрополог ли я? этнограф ли?), чтобы усомниться. Да и повода нет. Что тут странного? Наверняка где-нибудь когда-нибудь кем-нибудь практиковался и такой способ унижить себе подобного. Правда, первыми почему-то являются в память приматы; а как поразмыслишь – нет, скорее птицы: грызть ноготь, щелкая так громко, чтобы противник, а тем более зритель, внял, – по-моему, легче клювом.

Это, впрочем, дело техники (театральной). Но сколько же ваты советской, хлопчатобумажной, высшего качества должен затолкать себе в уши человек (Поэт!), чтобы своей рукой выводить на русском (на родном!) языке безумные предложения типа «я буду грызть ноготь по их адресу» и «не на наш ли счет вы грызете ноготь?». Таким слогом писали заявления в Литфонд на соседей по даче. Ну, еще в теперешней «Литгазете» так пишут. Моя мать помнила, как донимал ее в 37-м, когда бабушку посадили, комсорг курса, не то староста группы, какой-то, словом, активист: «По какому вопросу плачешь, Гедройц?»

11

Перерыв. Производственная гимнастика.

Как хороши бывают русские предложения. (Педант использовал бы прошедшее время, эстет добавил бы: в старину; предпочитаю остаться при иллюзорной претензии: предложения по-настоящему хорошие – срока годности не имеют.)

Давеча на странице Тургенева бросилось в глаза:

«Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, – *и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улелась*, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съжившемся и подрыхлевшем доме, – Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодежато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь».

А? не восхитительно ли? При всей как бы громоздкости. Похоже на простую старинную мебель, на какой-нибудь буфет старательной крепостной работы. Дверцы открываются одна за другой без малейшего скрипа. (Безотказные петли – точка с запятой и запятая с тире, я тоже их любил.)

Как идет голос вверх и где падает. Курсив, понятно, мой. На всякий случай. Для рассеянных. Не обижайтесь.

(И там же – нарочитый образчик синхронного автоперевода. Прозрачная калька, но с какими оттенками наклона! Фенечка спрашивает:

– Вам больше чаю не угодно?

А Николай Кирсанов ей в ответ:

– Нет, ты *можешь велеть самовар принять*.)

12

На чем мы остановились? Ах да! Смешно же, правда ведь, и проще простого. Закругленный стержень и равного диаметра кружок. По этой самой схеме – врезанной перочинным ножом в липкую, крашенную словно кофейно-ореховым маслом крышку парты, – мне и самому преподавали *ars amandi* в 167-й мужской школе на Старо-Невском (где теперь военкомат).

Вы тоже, конечно, помните этот граффито. Им разрисованы стены общественных пещер всех эпох. В нем действительно закодирован абстрактный порномультимедийный, оглашаемый на веронской улице обаятельным Меркуцио. Доисторический, животно-народный концепт: нефиг, нефиг естественную надобность возводить, хотя бы и на словах, в необходимость одного и того же другого человека. В зависимость от суверенного физлица.

Тогда как love (drivelling ли, не drivelling) – лозунг аристократической сексуальной контрреволюции. Раздуваемый ветром с загнивающего северо-запада. Попытка ввести в реальную половую жизнь – как утонченное извращение – элемент литературного вымысла. Бредни, короче, шакалов лютни: миннезингеров разных, труверов.

И это еще только цветочки. А лет через сто (ну, через двести) в европейскую моду войдет и вовсе бесстыдный обычай – ложиться лицом к лицу: раз мы якобы не животные. (Потом из моды выйдет, а станет нормой, – и детские куклы научатся закрывать глаза.) Покойный супруг Кормилицы явно практиковал эту позу. И несовершеннолетняя Джулиэт, без сомнения, давным-давно знает, в чем соль многожды рассказанного при ней семейного анекдота.

«Что, – говорит, – упала ты на лобик?»

А подрастешь – на спинку будешь падать.
Не правда ли, малюточка?»

Как видим, семья Капулетти – продвинутая семья. Опередившая свое время. Как и Меркуцио: ведь он уже читал Петрарку. И не одобрил. Даром что Петрарка еще ничего не написал. Кстати, после «Канцоньере» (то есть после 1348-го) шутка про длинного дурня была бы – типичный отстой, и Меркуцио, будьте уверены, сказал бы совсем другую. Меня, например, не удивило бы, если бы она совпала (в переводе обратном) с вариантом Пастернака. До компромиссного «Декамерона» тоже надо дожить, и не всем суждено.

13

Поскольку на дворе – в смысле, на этой улице – фанерной, картонной, бумажной, намализованной на тряпках – один из первых июлей XIV века. То есть это я предпочитаю так думать, а в принципе диапазон возможных дат: 1262–1387. Годы правления Скалигеров (делла Скала); см. афишу, перечень действующих: *Escal, Prince of Verona*.

Автор исходного сообщения про двойное самоубийство на веронском кладбище (Шекспир читал или видел на сцене переделку переводного пересказа; обожал мелких плагиаторов; заглывал их живьем и целиком) уточняет: данное ЧП произошло «*во времена синьора Бартоломео делла Скала*».

Как назло, одноименных синьоров было, по «Википедии», двое: Бартоломео I и Бартоломео II.

Времена одного – несколько первых лет треченто, *времена* другого – конец третьей четверти. Так вот, я голосую за предка – по двум (да, неосновательным) соображениям.

При нем в Вероне поселился Данте Алигьери; тот, без сомнения, регулярно посещал своего партайкамрада Монтекки (руководителя местной гибеллинской ячейки). Обидно же не припутать Данте к сюжету Шекспира, когда есть такая возможность.

Соблазнительно ведь вообразить, как за кулисами, по ту сторону задника, он читает молодежи – тому же Меркуцио, и Бенволио, и Ромео – терцины (в переводе, конечно же, Михаила Лозинского) из Песни Пятой Ада – про Паоло Малатесту и жену его старшего брата, про две смерти (или две жизни – как считать) за единственный поцелуй. Все произошло не так давно и совсем неподалеку – лет двадцать назад, 3 часа 15 минут на электричке.

В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.

Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,

Поцеловал, дрожа, мои уста.

– Дивные стихи, мессер Дуранте, – говорит, предположим, Меркуцио после бесшумных аплодисментов и когда все тяпнули из горла кожаной фляги по глотку граппы. – Впервые

в мировой литературе вы показали прямое опасное воздействие художественного текста на судьбы реальных людей. Как крысы – черную заразу, распространяют романы чертов амок, drivelling love.

– Это если версия синьоры Франческа правдива, – возражает, допустим, Бенволио.

– В аду, молодой человек, не лгут.

– Не в обиду будь сказано, мессер, – но ведь это легенда ее семьи – ваших друзей да Полента. Дескать, ничего такого не было; ничья честь не пострадала; подумаешь, поцелуй; единственный, случайный, произвольный: читали страницу щека к щеке – столкнулись краями губ.

– Прочитали про поцелуй – поцеловались! И ворвавшийся муж насадил обоих в таком слипшемся виде на заранее обнаженный меч!

– Наевшись груш, дорогой Меркуцио, предварительно наевшись груш. Ни за что не поверю, что эти двое устраивали тайные свидания только для того, чтобы вместе читать новинки тамиздата.

– А почему бы и нет, дорогой Бенволио, почему бы и нет? Одна-то, без него, она, скорей всего, читать не могла: не умела. «Смотрите, высокочтимая невестка, что я сегодня вам привез! “Рыцарь телеги, или Ланселот”, последний роман Кретьена де Труа. Только что переписан, еще чернила не просохли». – «Какая радость, любезный деверь! Я прямо вне себя от восторга. Поднимемся же как можно скорей в круглую башню, где нам никто не помешает, устроимся поудобней на чем-нибудь широком и мягком и предадимся неистовой страсти, сжигающей наши сердца!» Она-то – про страсть к чтению. А снизу по винтовой лестнице крадется босиком законный муж, поглаживая свой шампур. Бедняга Джанчотто думал, что пресек акт измены. На самом же деле – сорвал слет друзей книги.

– Смешно. И выглядело бы правдоподобно, будь они дети. Или если хотя бы синьора Франческа была маленькая девочка – скажем, ровесница Джульетты.

– Кто это Джульетта?

– Мисс Джулиэт Капулет. Новая пассия нашего влюбчивого друга. Ей всего тринадцать.

– А вот свистеть – не надо. Четырнадцать ей. Через две недели.

– Мои поздравления. Синьора Франческа так называемая да Римини оставила сиротой семилетнюю дочь. Синьор Паоло Малатеста тоже был семьянин со стажем. Крупный администратор, между прочим. Такие люди, стали бы они рисковать жизнью ради чтения вдвоем?

– Да ведь не просто вдвоем, а рядышком, рядышком! Плечом к плечу, бедром к бедру, виском к виску. Склоняясь над страницей либо вперяясь в нее снизу вверх. Наслаждаясь, так сказать, муками гравитации.

– Подобным образом проводили время, – краснея, вступает Парис, – один офицер с одной старой девой в одной повести одного русского писателя. Они не помнили, что сколько-то лет назад стояли в церкви, под венцом. Категорически не узнавали друг дружку.

– Поразительно, граф! Как вы угадали? Я нарочно умолчал про отложенный поцелуй. Какая это страшная вещь. Сшивает мужчину и женщину рыболовной леской с крючками на обоих концах, очень короткой. Франческу выдали (и взяли) замуж обманом: к алтарю с ней шел, и произнес «да», и обменялся с ней кольцами – Паоло. Как законный представитель – имея нотариально оформленную доверенность – старшего брата. За которого Франческа не хотела, очень не хотела. Он же был, говорят, урод: искривление позвоночника, что ли. Она поняла, как над нею подшутили, только ночью, на брачном ложе.

– И через восемь лет зазвала, вовлекла Паоло в ролевою игру. Как, знаете, уговариваются маленькие дети: давай ты был рыцарь Ланселот, давай я была королева Гвиневера. Давай ты был Тристан, а я Изольда Белорукая... Или Белокурая?

– Ну и доигрались. Века-то наши все еще практически Средние; тет-а-тет разнополых равняется прелюбодеянию: презумпция, извините, такова.

– А после смерти извольте превратиться в двухголового нетопыря, швыряемого из стороны в сторону черным ледяным вихрем.

– Это еще поблажка бедной Франческе. Другие-то сладострастные пары в этой стае теней навеки разлучены.

И т. п. Отчасти даже жаль, что я не Умберто Эко в переводе Елены Костюкович.

14

К тому времени, когда главой судебной и исполнительной власти в Вероне стал Бартоломео II делла Скала, мессер Дуранте давно уже (1316) находился в одной из обследованных им сфер. Куда отбыть предпочел из Равенны (которую, кстати, правил Гвидо да Полента, племянник Франчески).

В Вероне изменилась обстановка. Был просвещенный авторитаризм – стала наглая тирания. Последние делла Скала омрачили репутацию фамилии. Дали отдельным историкам повод навесить на нее ярлык: «кровавые Скалигеры».

Шекспиру, будь он хоть трижды, как и я, моноглот, – это могло быть небызвестно.

Однако же Эскал его пьесы ни капельки не кровав. Солидный гарант гражданского мира. Согласно воскресному, вчерашнему (нашему собственному) указу, Ромео в понедельник за убийство Тибальта должен быть немедля казнен. Немедля-то немедля, но он – Монтекки, тогда как Тибальт – всего лишь племянник синьоры Капулетти. Приговор суров до предела – почти, почти: к смерти через ностальгию; беспощадно выдворить; лишит веронского гражданства. Народным массам, слегка разочарованным, дадим понять: усопший Тибальт, будем справедливы, сам поставил себя вне закона, прикончив Меркуцио. Нашего (решающий юридический довод упомянем в скобках) родственника. Массы поймут. А хоть бы и не поняли. Show, знаете ли, must go on: решающий – не юридический.

15

Бартоломео II на такую роль Эскала не годился. Не успел наесть авторитет. Позволил себя прикончить, еще будучи молодым.

Допустил, чтобы его закололи на улице – как Меркуцио, как Тибальта.

Закололи, или зарубили, или зарезали – точно не скажу. Вообще-то, до 1500 примерно года обычно рубились мечами – а передвигались в кольчугах и/или в латах, так что результативные бои чаще решал колющий удар кинжала. Но в доспехах так потеешь – все тело зудит, да еще в средиземноморскую летнюю жарынь. И если положиться на скорость выпада и точность укола (alla stoccata в самый разъем), то рапира или шпага даже эффективней меча. И, похоже, в Италии Шекспира, в Дании Шекспира, в Иллирии дерутся только так. (Античный Рим – дело другое. Шотландские вересковые пустоши – подавно.) Иначе Тибальт не достал бы Меркуцио. Из-под руки Ромео – он его, конечно же, заколол. Сами попробуйте зарубить кого-нибудь из-под чьей-либо руки. Лично я не берусь.

И что Бартоломео II умер именно на улице – тоже не факт. Тело нашли на ступенях лестницы (справа от входа), ведущей к верхним этажам дома, где проживала красавица, на которую он имел виды. Страсть ли он питал или слабость, или просто положил глаз, – но в городе знали, что барышня была против, поскольку что-то из вышесказанного переживала, думая о человеке другом.

И вот, значит, в одно недоброе утро под окнами ее дома обнаруживается продырявленный труп руководителя государства. Он положил на нее глаз – а его положили к ней на лестницу. Такой вот скверный каламбур.

Было бы довольно грубой исторической бестактностью – заставить этого беднягу провозглашать (с чувством, с чувством!) знаменитую заключительную реплику: нет повести печальнее на свете (печальнее не слышано на свете, останется печальнейшей на свете) и т. д. «Несчастный недалновидный глупец!» – подумает о таком Эскале образованное меньшинство.

16

Кстати, это и вообще неправда, кто бы ее ни декламировал. Таких историй – от Санкт-Петербурга до Киото и дальше на восток: про мальчика и девочку, мальчика и мальчика, девочку и девочку, принужденных или возжелавших – или вообразивших, что вынуждены или что они сами хотят (вряд ли, впрочем, во всех случаях оба одинаково сильно) как можно скорей умереть вдвоем.

Вот, скажем, на следующий день после того, как начат был читаемый вами текст, какое сообщение мелькнуло в новостях (и моментально кануло в пучину):

В селе Тылгыны Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) поздно вечером 24 апреля два 11-классника совершили двойное самоубийство. Эту информацию ЯСИА подтвердили в правоохранительных органах и администрации муниципального образования.

Как оказалось, ранее подростки уже высказывали друзьям о (синтаксис информантства ЯСИА. – С. Л.) своих намерениях совершить суицид. В частности, непосредственно перед смертью они разговаривали по телефону со своими одноклассниками и попрощались с ними.

По предварительным данным, ребята зашли во двор маслоцеха, где один из ружья застрелил своего одноклассника, затем выстрелил себе в голову.

Можно подумать, двор маслоцеха в Вилюйском улусе (автор романа «Что делать?» отбывал ссылку в тех местах) отрадней для предсмертного взгляда, чем внутренность склепа. Или что выстрелить в собственную голову из ружья легче, чем достать кинжалом до сердца – тоже своего, уввы.

17

Все одно смерть от своей руки – не своя. Парадокс не только грамматический. Когда убийцы (или молния – как Петрарку; а также землетрясения, наводнения, пожары, транспортные катастрофы и прочие мрачные шалости так называемой судьбы; а в художественных произведениях – писатели) нас убивают, они крадут и уничтожают, помимо остатка биографии, еще и спрятанную в него нашу так называемую *свою* смерть. Как бы лотерейный билет еще не разыгранного тиража, дающий право на некоторую беспечность. Типа – не факт, что в эпилоге непременно ужас-ужас: кто сказал, что именно мой номер ни за что не выиграет? А между прочим, джек-пот – когда-нибудь, неизвестно когда (конечно, не завтра) и совершенно ни с того ни с сего просто не проснуться. К этому моменту мы, ясное дело, успеем соскучиться и станем ко всему безразличны.

Это «мы» здесь – не риторический прием. Не хочу, не могу, наконец – не желаю говорить за всех. Оставим каждому местоимение его. Мы – в данном тексте означает: мы с Каем. Разумеется, вы знаете, кто это: герой – нет, не сказки Андерсена, а самого знаменитого силлогизма. Простого категорического, – однако наша с ним общность не так проста. В принципе, она требует для глаголов не множественного, а двойственного числа – а его теперь в русском языке ищи-свищи. Не я тут виноват.

Кроме того, мы не равны по статусу. Меньшая посылка того силлогизма давно сделалась аксиомой, так что Кай – человек несомненный. А что я тоже отчасти человек – только моя, заинтересованного лица, гипотеза. (Доказываемая лишь вероятностью – довольно, впрочем, высокой, – что и я, как он, смертен. Хотя он если и смертен, то не как я. Не первое столетие.)
Есть разница?

А зато нас, может быть, не двое, а трое. Кто-то же когда-то кому-то клялся: где ты, Кай, там и я, Кайя.

Если на то пошло, риторический прием здесь – «вы».

А – порвать билет, отказаться от *своей* смерти? Такой поступок якобы обижает Устроителя Лотереи (термин Т. Карлейля; виноват, соврал: мистера Теккерей): билетик-то даровой. (Но разве кто-нибудь его выпрашивал?) Не только капельдинеры – зрители тоже негодуют, когда какой-нибудь Онегин, ступая по ногам, направляется в гардероб. По Алигьери, за суицид – второй ярус круга аж седьмого.

Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос ее в седьмую бездну шлет.

Самоубийца падает с лестницы Ламарка и становится, разбившись, диким растением. Кустом. Немым, неподвижным. Но по-прежнему способным чувствовать отчаяние, запах, тяжесть и боль. А на него всю вечность напролет с черного твердого неба пикируют гарпии (огромные такие грифы с женскими железными грудями, с женскими железными лицами) – и, ломая на нем ветку за веткой, рвут с него листья, и жрут, и обдают его жидким пометом, невыносимо зловонным.

(Это же самое привиделось однажды Некрасову. Верней, передалось через систему литературных зеркал – исключительно четко:

Гром глушит их вечным грохотом,
Удушает лютый смрад,
И кружит над ними с хохотом
Черный тигр-шестокрылат.)

Никогда больше не дотронуться. И даже издали не увидеться больше никогда, никогда – ни даже на Страшном суде:

Пойдем и мы за нашими телами,
Но их мы не наденем в Судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.
Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень.

Не понимаю. Куда притащим наши тела – обратно в ад? Или где эта сумрачная сень? И почему тень – безжалостная?

Т. Б. Лозинская, наверное, понимала. Но в тот день, когда она была вдовой, не до стихов ей было, не до стихов.

Ждала: стемнело бы за окнами поскорей. В Ленинграде зимой солнце садилось не раньше и не позже, чем в нынешнем Петербурге.

Могила на Литераторских мостках, на участке мастеров искусств. Найти легко – совсем неподалеку есть приметная: каменный портик с фигурками лошадок (кажется, и собачек): лежащий тут преуспевал, по-видимому, в цирковой дрессуре.

А через ряд стоит человеческого роста параллелепипед (слово из тетрадки в клетку), по центру лицевой стороны – металлический муляж как бы книжки; тут же, если не ошибаюсь, и гусиное перо. Над книжкой выбито:

Михаил
Леонидович
Лозинский
21·VII·1886 – 31·I·1955

Под книжкой:

Татьяна
Борисовна
Лозинская
30·XI·1885 – 1·II·1955

Литераторские мостки – чем не сумрачная сень? Очень даже сумрачная.

18

Но грубой, грязной, ледяной, отвратительно чужой рукой сдирает с человека теплое, недотраченное тело – смерть насильственная, бесстыдной наглостью и страшна.

Длинный железный дурень выковыривает меня из меня. Как мерзко. Как унижительно.

И обида тем сильнее, что чаще всего и даже, как правило, *не своя* смерть оказывается результатом беспорядочной толкотни дураков.

Скажем, граждане Вероны, услышав (1375) от глашатая (местное СМИ), что Бартоломео II делла Скала покинул их, администрацию же отныне возглавляет безутешный младший брат покойного Антонио I, так поначалу и подумали: не от большого ума, подумали они, шатался злосчастный диктатор без охраны по ночным улицам. На подчиненный ему правопорядок, что ли, полагался или на свой длинный кинжал, – ну и напоролся на такого же самонадеянного и тоже нетрезвого, но с кинжалом еще длинней. Нехилое угощение, надо надеяться, выставят народу в день похорон.

Однако буквально через час глашатай объявил: виновные в теракте – такой-то и такая-то – задержаны и в настоящий момент дают признательные показания. С ними, разумеется, будет поступлено по всей строгости.

Тогда граждане Вероны подумали – и опять были по-своему правы: здравствуйте, не женившись, дурак и дура! не нашли, значит, другого способа избавиться от нежелательного, но слишком сильного претендента (она) и соперника (он). А что бы им просто убраться подальше. Эмигрировать. Хоть в Мантую, 25 миль отсюда. Не сообразили, не догадались, не решились, – а убить разве безопасней? Еще и труп зачем-то выложили напоказ, а сами спокойно разошлись по домам. Ну не дураки?

Действительно: эту девушку, на чьей лестнице и т. д., а также того человека, который ей нравился, отвели в тюрьму. И там их пытали. Подробностей лучше не знать – к счастью, я и не знаю. Только убежден, что Антонио присутствовал. Из любви к брату, а как же, и ослепленный горем и жадной мести.

К тому же фамилия девицы (имени я сразу не нашел, а поискать как следует – недосуг, простите) была Ногарола. Из семьи, стало быть, известной странным чудачеством: вот уже несколько поколений эти графы Ногарола всех своих дочерей (а не только сыновей, как нор-

мальные) и всех невесток учили читать! Мало этого – еще и писать! Некоторые из них потом, уже в следующем веке, что-то даже сочиняли, чуть ли не стихи.

Ну так интересно же посмотреть на эту девку (грамотная, видите ли, тварь!) – как она голая стоит на коленях в луже собственной крови, рвоты и мочи.

(А в другом углу ее хахаль рвется с цепи. Прикованный за шею.)

И послушать, как они сознаются в преступлении, причем валят вину друг на друга.

19

Тут вышла неприятность: не сознались. Ни она, ни он. Умерли под пыткой в ту же ночь – не прося ни прощения, ни пощады.

Я думаю, они сговорились. Применили уловку – ну, пусть будет № 23. Смерть по-итальянски: задержать дыхание, сжать кулаки и терпеть, пока сердце не разорвется. Наверное, один все-таки умер от внешнего воздействия (он), а она сумела сама. Вряд ли удалось обоим. Я даже не уверен, что этот способ осуществим. Он описан как вполне надежный в «Декамероне» – не помню, в которой новелле которого дня. Но, как заметил «лучший и талантливейший» поэт так называемой советской эпохи, мало ли что можно намолоть в книжке (у него-то был револьвер). Мне попалась у одного или двоих авторов смерть по-англосаксонски: выпить залпом стакан виски; для человека упомянутой – моей – формации это просто смешно: а как насчет неразбавленного медицинского? не пробовали? (Правда, водкой лучше не запивать.)

Антонио на закрытом совещании силовиков выразил мнение – допустил такую дурацкую ошибку, – что в данном случае имела место недоработка пыточной группы.

Но у веронских палачей была собственная гордость. Уж они-то знали, что они делали с этими двумя и что те двое чувствовали, пока с ними *это* делали. И что если после всего этого человек – мужчина ли, женщина, но особенно женщина, – после таких мук все-таки не колетса, – объяснение возможно лишь одно: он чист – в смысле пуст. Нельзя извлечь из человека то, чего в нем нет. В этих изуродованных головах не имелось никакой информации о последних часах Бартоломео II.

Улик нет. Мотив слаб. Свидетелей – ни единого. Телохранители, которые должны были хоть издали сопровождать отца нации (Capitano del Popolo), провалились – вся смена! – под землю или на дно Адидже (тамошняя, веронская, река).

У палачей были семьи. Родня. Соседи. Граждане Вероны гордились своими мастерами заплечных дел. Верили в них, верили им. Как, может быть, не верили себе.

Всплакнули о незаконно репрессированных, конечно. Такие молодые. Положим, тирану нет закона. Как ветру. И как орлу. Но разве обязательно быть тигром? Антонио выместил на бедняжках свою лютую скорбь о любимом брате и начальнике. Импульсивный такой, совсем без тормозов. О, скорей бы наступила эпоха Просвещения, осточертели эти Средние века!

20

Ум независимого, как мы с вами, наблюдателя тоже огорчен и рассержен, но – как бы это выразить? – сердце не уязвлено. (Или поменять местами сказуемые; у кого как.) История прежалостная, но порядок вещей не нарушен. В порядок вещей входит риск попасться зверю или дураку. Вообще – ассортимент неудач. И он широк. Все это чудно изложено в «Голубой книге»:

«То есть, кроме неудач, у них как будто мало чего и бывало. Нищие бродят. Прокаженные лежат. Рабов куда-то гонят. Стегают кнутом. Война гремит. Чья-то мама плачет. Кого-то царь за ребро повесил. Папу в драке убили. Богатый побил бедного. Кого-то там в тюрьму

сунули. Невеста страдает. Жених без ноги является. Младенца схватили за ножки и ударили об стенку... Как много, однако, неудач. И какие это все заметные неудачи».

Попасть на всю жизнь в так называемое неправовое государство, в бессовестное – неудача из крупных. Раз оно опирается на худшее в людях, то и власть над ним нередко достается худшим из людей. А в промежутках – злым глупцам обыкновенным; те борзуют постепенно, в процессе осуществления полномочий.

Ну а кто слишком грамотен, чтобы быть свирепым, или даже кто просто не особенно зол, даже если и не так уж умен, – делай свой исторический выбор, дружище. Это совсем не сложно: будь податлив, будь повадлив, будь, короче, подл или хотя бы подловат, хотя бы притворно, – или ты пропал!

Такой простой выбор; кажется, и раздумывать не о чем. И вот надо же: многие пропали, многие пропадают и многие еще пропадут.

Все ведь жили, живут, живем, будем жить в неправовых государствах. (Кроме некоторого меньшинства. На некоторых пространствах. Да и там лафа, похоже, кончается. И продлилась-то какие-нибудь полтора года лет в лучшем случае.)

Все это так обыкновенно, так привычно, никто и не замечает. Врожденная, можно сказать, неудача. Прилагается к жизни. Коварные шуруют, подлые терпят. И спасибо говорят.

Все мы, разумеется, предпочли бы, чтобы дело обстояло по-другому.

Чтобы за мирозданием приглядывали, прогуливаясь под ручку, справедливость и юмор.

А то – ну куда годится? Достоинство – понимаете ли, до-сто-ин-ство! – просит подаянья, вдохновению зажимают рот, праведность неизвестно с какого перепуга прислуживает пороку, ложь глумится над простотой (этой, впрочем, так и надо), и ордена и премии вечно достаются не тем, и ничтожные позволяют себе одеваться шикарно.

Так тяжело смотреть. Просто хоть не живи.

Но это, настаиваю, не трагедия, а 66-й сонет в переводе Самуила Маршака. Утирай слезу, поехали ужинать.

21

Тут она и обернулась. Прежалостная история этой Ногарола и ее друга. В прямом смысле: как оборотень.

Сюда просятся строки Шиллера (в переводе, конечно, Николая Заболоцкого, а Жуковский покамест отдохнет):

И вдруг, как молния средь гула,
В сердцах догадка промелькнула!

Палачи – действительно как Ивиковы журавли (и тоже невольно) – заронили в коллективный мозг искру дедукции.

У всех на виду гарцевал и красовался реальный выгодополучатель. Причем единственный, кто с легкостью мог бесследно устранить киллера и прочих исполнителей и всех свидетелей. И мотив у него имелся – о-го-го какой мотив! (И опять же только у него.)

Через некоторое (наверное, недолгое) время не осталось в Италии человека, который не был бы убежден, что Антонио делла Скала – гнусный братоубийца.

А знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? И т. д. Когда (1387) пришли Висконти (предки кинорежиссера), чтобы взять Верону под свой контроль, население поленилось сплотиться вокруг вождя. Антонио бежал и даже, возможно, умер своей смертью, – но не все ли равно.

Над двумя безымянными молодыми людьми зло одержало чистую победу.

Про что и сочиняются трагедии. Настоящие, то есть (по-моему) в которых утешения нет и прощение невозможно.

Вот и спросим себя: чья повесть печальней. А заодно уж (извините, порой приходится использовать слова с несколько неотчетливым значением): чья взаимная любовь испытана (тут смысл, к сожалению, буквальный) страшней?

Но турбизнесу небольшого, как Верона, города эксплуатировать сразу две легенды в лом и ни к чему. Мрачную пустили на впечатляющие детали трогательной. Фокус-покус, know-how безвестного креативного чичероне (Довлатов почти так развлекался в Пушгорах, а я – тоже с похмела – в Царскосельском парке): подвести экскурсантов к особняку Ногарола и таинственно так, торжественно: видите, синьоры, этот дом? и лестницу справа от входа? вы стоите перед casa di Romeo!

И т. д. (Пошлость усваивает только то, в чем уже содержится хотя бы атом ее.) В том же районе, шагах в двухстах, отыскался дом с мраморной шляпой над аркой, веке в семнадцатом принадлежал каким-то Капелли, да хоть в девятнадцатом, не важно; по заказу киностудии пристроили (будем считать – реставрировали) балкон: а вот с этого самого балкона говорила с Луной синьорина Джульетта, полуодета, в ту самую ночь! Когда Ромео подслушивал в саду. Ну и что же, что этот балкон нависает над улицей, а сад если когда-то и был, то позади дома, – ваши придирки утомляют, отстаньте. Сам синьор Диккенс – вам знакомо это имя? – стоя на этом самом месте (а тогда в здании располагался вовсе не музей, как сейчас, а трагедия), сам синьор Диккенс, говорю, чувствовал тут восторг:

«... Гораздо приятнее было бы найти дом совершенно пустым и иметь возможность пройти по его нежилым комнатам. Но изображение шляпы все же доставляло невыразимое утешение, и место, где полагалось быть саду, едва ли меньше».

Хотелось бы и мне одним глазком взглянуть. На ту лестницу. А также – все-таки узнать имена тех двоих, казненных. Фамилию молодого человека «Википедия» помнит: он был Маласпина.

22

Итак. Некоторые печальные истории печальнее других, на вид не менее печальных. Они ядовиты: содержат трагизм. Активируемый коварством.

История просто (и сколь угодно) печальная неприхотлива, как ромашка. Ей достаточно, чтобы симпатичный персонаж пал от руки несимпатичного. Скорей всего, это будет дурацкая смерть, – что ж, мы ее с удовольствием оплачем. И не позволим опустить занавес, пока несимпатичный невредим и на свободе.

Трагическое же содержит (по-моему) горечь неподслащаемую, как цианид. Правду, несовместимую с жизнью. Невыносимую. Не понять или/и забыть – другого спасения нет.

И уж разумеется, гораздо здоровей, чем *или*, просто *и*: забыть, не поняв. Наилучшее средство – сосредоточить взгляд на блестящих гранях сравнений, метафор, гипербол и литот. Как легко и приятно припоминать к месту и наизусть крылатые восклицания: что? крыса? ставлю золотой, – мертва! чума на ваши дома! полцарства за коня! слова, слова, слова; есть многое на свете...

(В морге у гроба Рида Грачева нас было трое: Андрей Арьев, Яков Гордин и я. Чтобы перенести гроб в автобус-катафалк, нужны четверо. Попросили водителя автобуса помочь. И в тот момент, когда мы подняли гроб, в голове у меня закрутилось – и крутилось всю дорогу до кладбища:

Пусть Гамлета поднимут на помост,
Как...

Я все не мог припомнить – как кого, потом вычислил:

Как воина, четыре капитана...

Гроб лежал на полу автобуса, а мы сидели на боковых скамейках.)

Главное – не обращайтесь внимания на зигзаги событий. Читайте трагедию, как басню с отломанной моралью. Приделать не так уж сложно. Как воздушному змею хвост. Будет немного скучно, зато не надо понимать. Раз все понятно:

«Трагедия в том, что ничего другого, кроме раз навсегда отринутой зависимости от потустороннего, нечеловеческого авторитета, он не находит для опоры и действия, для того, чтобы поставить на место “вывихнутые суставы” эпохи. Одну эпоху ему приходится судить по нормам другой, уже ушедшей эпохи, а это, по Шекспиру, немислимо».

Вот «Гамлет» и готов. Дело мастера боится. Вообще-то открыть (Фортинбрасу, конфиденциально) «причину всех событий» отравленный принц завещал другу, но разве Горацио, с его-то схоластическим виттенбергским образованием, сумел бы так завернуть абзац?

О наука филология! приемную твою мать Каллиопу воспеваю.

23

Сам же – не более чем семенящий между букв муравей. Знай перебираю своими шестью. В капле остывающей смолы.

Еще раз: у печального столько же общего с трагическим, как у случайной смерти – с предательским убийством.

По-моему. Или это всем известно, а я только сейчас дошел своим умом сенильного дилетанта.

Методом сравнения последних вздохов.

Вот смерть Меркуцио. (Мы болеем за него и расстраиваемся, это все понятно, но.) Ведь дурацкая чистой воды. Банальная смерть слишком храброго.

Ему говорит благоразумный приятель: не стоит висеть на центральной площади. Капuletты шныряют повсюду. (По умолчанию – после вчерашнего; а это ведь мы от нечего делать затеяли десант на ихнюю танцульку; они восприняли это как вызов; они раздражены.) Давай посидим сегодня дома. Посмотрим футбол или бокс. Опять же – по пиву. В жару всегда сильней бушует кровь.

Меркуцио поддразнивает благоразумного безответственной болтовней. Причем болтает очаровательно, как умеет только он. Шутит – в предпоследний раз – практически как сам Шекспир: устройство шутки настолько затейливо, что пересказывать – ищите другого зануду. Как бы карикатура и вместе как бы автошарж, прямо на поверхности кривого зеркала, – а заодно (и явно не по собственному желанию) самому себе надгробное слово. Короче, не вредно и перечитать. Но:

– Атас! – шипит Бенволио. – Клянусь моей головой, сюда идут Капулетти.

– Клянусь моей пяткой, – улыбается Меркуцио (до чего же он хорош!), – мне это совершенно безразлично.

Отчасти жаль, что это не последняя его фраза.

Тут, конечно, на площади возникают **Тибальт и другие**.

Тибальт у нас, как известно, несимпатичный. Один Шекспир знает почему. А я, например, ничем, кроме как воздействием гипноза, объяснить даже самому себе не умею. Мы видим этого юношу в третий раз, и в предыдущие два он вел себя ничуть не хуже никого из прочих молодых дворян.

(Все-таки это фантастика. Ведь нет никакого Тибальта. Есть 23 неполные строки русского пятистопного ямба, в них 120 слов, плюс-минус два-три союза, два-три предлога. И эта горстка печатных знаков вынуждает меня обращаться с ней – и считаться – как с так называемым живым человеком.

См. у Льва Толстого: «“Откройте, – говорил я таким хвалителям, – где хотите или где придется Шекспира, – и вы увидите, что не найдете никогда подряд десять строчек понятных, естественных, свойственных лицу, которое их говорит, и производящих художественное впечатление” (опыт этот может сделать всякий)».

Насчет художественного впечатления – не спорю, поскольку не знаю, что это. Но драматической техникой Шекспир владел – дай бог, только не обижайтесь, каждому. И вот Тибальт, например, – если произвести над ним предлагаемый Вами опыт, – окажется несколько не мертвей, чем, допустим, я. И, может быть даже, – чем Вы, глубокоуважаемый Л. Н.)

В первой сцене: увидав, что трое чужих рубятся с двумя нашими, причем на одном из троих – кольчуга, тогда как на остальных – кожаные (в лучшем случае) латы или просто нагрудники, – разве вы, не говоря уж – Меркуцио или Парис (насчет Ромео – я не совсем уверен), не бросились бы очертя голову в бой?

Самое время опять помянуть добрым словом Татьяну Львовну. Помните, как в этой первой сцене появляется Тибальт? Реплика гласит: входит **Тибальт**, – но какое там входит! Произнося на бегу шесть слов, составляющих первую строку, —

Как, бьешься ты средь челяди трусливой? —

он успевает обернуть плащом левую руку и освободить меч из ножен.

Вторая строка – церемониальное (с издевкой) приветствие и вызов: четыре коротких взмаха клинком крест-накрест (пять слов – четыре такта):

Сюда, Бенволио, смерть свою встречай!

Мастер-класс господина де Бержерака. Ничего не скажешь – веников не вязала. Сравните у Б. Л.:

Как, ты сцепился с этим мужичьем?

(Положим, почти не хуже.)

Вот смерть твоя – оборотись, Бенволио!

(По-моему, значительно слабей. Скорость не та, и слишком много гласных.)

А уж у Радловой —

Бенволио, повернись, на смерть взгляни! —

вся надежда только на актера, авось прорычит, не пустит петуха.

Но каков бы ни был перевод, Тибальта эта фраза не порочит. Нормальный предупредительный рыцарский возглас. Иду на вы. Сам Дон Кихот, сам д'Артаньян бросился бы в схватку с таким же кличем.

Другое дело, что Тибальту плевать – есть ли повод для драки, нет ли: ему не повод нужен, а драка. Он ищет ее и жаждет. Мировую не предлагать: впадет в иступление, как если бы у него попытались отнять самое дорогое.

Мне даже слово это ненавистно.
Как ад, как все Монтекки, как ты сам!
Трус, начинай!

И это он, Тибальт, первый в пьесе произносит слово «смерть».

И выглядит (и, наверное, чувствует себя) ее необычайным представителем. Пока не отозван. Пока не предан ею.

Как бы Азazelло, разве что без очков. Зловещий агрессор. Но, правда, и комичен. Самую малость. Совсем чуть-чуть. Со сдвигом на один глагол. Показания Бенволио:

...Мне бросив вызов, стал над головою
Мечом он ветер разрезать, а ветер,
Не поврежден, освистывал его...

25

Тут я виноват перед Татьяной Львовной. Я подозревал, что она присочинила это: «освистывал». Уж очень (и очень внезапно) превращается мнимый ангел смерти в шута – в того самого, придуманного ею шута с ею же придуманной погремушкой; и прыгает туда-сюда, и сует куда попадет.

Однако Гугл-переводчик, мой верный товарищ, махая крылом, удостоверяет: *hiss'd him in scorn* примерно и значит – подсвистывал ему презрительно. (Возможно, Бенволио всего лишь хочет подчеркнуть, что на Тибальта никто не нападал; но мало ли кто чего хочет; карте место; слово, знаете ли, не воробей.)

Тогда и шута Т. Л., стало быть, взяла не с потолка, а из воздуха пьесы. Истиканного остриями клинков, расплосованного лезвиями; ветер разносит скрежет металла, смешанный со свистом.

(Звуковой фон в хрониках, в «Макбете», в римских трагедиях глуше и ниже; там не свист, а вой. Но так же толкаются ярко раскрашенные пузыри, туго накачанные волей, машут приспособлениями для протыкания, – и сдуваются один за другим.)

Но это к слову. Я отвлекся и вышел за рамки, каюсь. Позвольте напомнить, мы пытаемся разобраться: отчего нам с вами (признайтесь) больше понравилось бы, если бы Меркуцио «погасил» Тибальта, чем наоборот. И я по-прежнему утверждаю, что в своей первой сцене наш якобы несимпатичный проявил себя совсем не некрасиво. Ну да, Т. – вспыльчивый храбрец, встреча с таким в узком и неосвященном переулке не обещает ничего хорошего. Да и в освещенном, пожалуй. Но из театрального партера он смотрится молодцом.

А уж во второй сцене (строго говоря, в 5-й I акта, – но это для нас; для него она вторая) Тибальт заслуживает полного сочувствия.

Я говорил, да все и так знают из афиши: он не Капулет. Всего-навсего родственник, и, скорей всего, бедный. Грубо говоря – приживал. Какое у него будущее? Что ему светит? По-хорошему-то, нанялся бы в какую-нибудь действующую армию. Тем более так любит драться. А в Европе где-нибудь всегда идет война. Но дело в том, что у главного Капулета нет сыновей; все активы рано или поздно перейдут к супругу дочери. А ведь могли бы – могут! – остаться в семье. Браки двоюродных – сплошь да рядом. Принять фамилию супруги – легко. Шанс, не шанс – не отнимете же вы у молодого человека право на мечту. Ставлю том Шекспира против пачки сигарет – Тибальт влюблен; да знаете вы в кого. Короче, см. «Крестный отец-3».

Но если даже предыдущий абзац весь состоит из моих досужих и заведомо ложных измышлений, – будь вы даже не влюблены, а просто молоды и храбры, – что вы-то сделали бы на месте Тибальта, услышав, как замаскированный незнакомец обсуждает с приятелями внешность вашей маленькой кузины? Наподобие комментатора на конкурсе красоты. Щеголя не высокопробными, скажем прямо, стилистическими находками: девочка похожа на жемчужную сережку в ухе африканца. И даже так:

Как белый голубь в стае воронья —
Среди подруг красавица моя.

Положим, это наглое «моя» – отсебятина Татьяны Львовны (удобная подвернулась пара рифм). Но и без нее ситуация нетерпимая, а вдобавок вы узнаете голос: этот замаскированный тип – из компании парней, с которыми вы дрались нынче утром; с ними, небось, и явился на дискотеку в чужой квартал. Уверяю вас, мой несуществующий читатель: вы тоже послали бы своего пажа за мечом. Чтобы не с пустыми руками подойти к тому нахалу и тихонько сказать: а давай выйдем на минутку, чувачок, есть разговор. И если бы глава вашей семьи удержал вас и угомонил грубой нахлобучкой – вы тоже ушли бы в ярости, какая за одну ночь не скисает.

А не уйди он – тут и представлению конец. Славная пошла бы резня, если бы Ромео решился при Тибальте поцеловать Джульетту и успел бы выманить ответный поцелуй.

(Каким дешевым приемом! Каким пошлым, сказал бы с вялой улыбкой Е. О., мадригалом! Типа: о святая! разреши паломнику приложиться. А после:

Ромео

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.